

ВСТРЕЧИ С МЕЙЕРХОЛЬДОМ

Г. ОКСКИЙ

ВТРИДЦАТЫЕ годы в доме Герцена на Тверском бульваре помещалось Всероссийское общество композиторов и драматургов. Сокращенно называли его «Всероскомдрам».

Это общество подразделялось на целый ряд творческих секций: драматургов профессиональной сцены, авторов пьес для клубов, композиторов, театральных критиков и т. д.

Я руководил одной из секций и часто бывал на партийных собраниях «Всероскомдрама». Там мне приходилось встречаться с В. Э. Мейерхольдом, А. Н. Афиногеновым и другими деятелями театра.

Познакомился я с Всеволодом Эмильевичем при забавных обстоятельствах. После рабочего дня «Всероскомдрама» я увидел в коридоре озабоченно шагнувшего человека. В пальто широкого покроя, с небрежно поднятым воротником, он ходил быстро, высоко держа голову с резко очерченным характерным профилем, — высокий, чуть покатым лоб, орлиный нос, правильный овал подбородка.

Заметив и приняв меня, вероятно, за одного из начальников «Всероскомдрама», этот поздний посетитель закричал:

— Безобразие! Вызываете на заседание, а никакого заседания ни в одной комнате нет!

Только теперь, всмотревшись как следует в черты его лица, я узнал Мейерхольда, знакомого мне по многочисленным портретам в газетах и журналах.

— Всеволод Эмильевич, собрание будет не здесь, — объяснил я, — а в другом крыле здания...

И вдруг мгновенно — именно мгновенно! — преобразились и лицо, и голос Мейерхольда:

— Тогда я сам виноват, что не сообразил... — сказал он и улыбнулся мягко. — Вы случайно не туда же? Поплывем вместе...

Очень поразила меня такая моментальная смена настроения — перевоплощение человека, охваченного раздражением, в благодушного, приветливого, готового к шутке.

При дальнейших встречах с Всеволодом Эмильевичем в нем всегда чувствовалась большая задушевность, пожалуй, даже ласковость, нежность, какая-то трогательная мягкость — и все это без тени сентиментальности, развличности — в соединении с настойчивостью, твердой убежденностью, сквозившей в каждой фразе.

Часто при обсуждении организационных вопросов Всеволод Эмильевич предлагал такое простое и ясное решение, что все незамедлительно соглашалось с ним. Интересной была форма таких предложений. Например:

— Скажите, пожалуйста, что важнее: еще одна инструкция или еще одно дело? Положим на чаши весов: на одну — сто чиновников, на другую — сто каменщиков. Перетянут каменщики, должны перетянуть! Наша задача: перетянуть секретариат в сторону настоящего дела... (и так далее).

Иной раз в кулуарах собраний заходила речь о новых театральных постановках, и Мейерхольд, защищая свои творческие позиции, бросал примерно такие, запомнившиеся мне реплики:

— Честное слово, неискушенный зритель скорее понимает мудрость в искусстве, чем какой-нибудь горе-эстет, мянущий себя «законодателем мод»!

— Мы ценим непосредственность в обращении друг с другом, в живописи, в поэзии, в народном искусстве, наконец; отчего же режиссер должен жить по раз навсегда установленным канонам?!

— Человек науки, сделавший открытие, счастлив, если его открытие принесло радость людям. И режиссер по-настоящему счастлив, если его новая постановка — открытие, радующее людей!

— Нет, никогда не соглашусь, что театральное искусство вроде всеисцеляющих пилюль, которые помогают каждому и при всех болезнях! Принял, мол, лекарство, то есть посмотрел пьесу, и вышел из театра другим человеком! Рассуждать так — значит не уважать человека с гаммой его чувств, особенно многообразной в эпоху социализма. Социализм предполагает широту взглядов, глубину восприятия, а не унижающий людей мелкобуржуазный универсализм.

— Если бы я не был режиссером, то был бы беллетристом! Когда я читаю, я вижу то, о чем читаю, а когда ставлю пьесу, то будто пишу страницу за страницей...

— Лучшая награда для драматурга и режиссера не смех и слезы зрителя, а долговечность впечатления, глубокий

след, оставленный в душе спектаклем. И сожалению, для многих еще не стало истиной, что нужно учиться всему: смотреть картину, слушать музыку, понимать спектакль.

— Принципиальная критика ценнее глупого славословия! Я люблю выслушивать мнения своих противников, исшать зерна, из которых вырастают возражения. Вы не можете себе представить, как это помогает работе!

— Говорят, что театр — необходимость. Я бы добавил: печальная для одних, счастливая для других.

— Палитра режиссера будет скучной, если забыть о творчестве детей, народном искусстве, собственной, наконец, фантазии... Во всем этом есть и художественная дерзость, и гипербола, и непосредственная эмоциональность! Разве вправе художник-реалист пройти мимо этих прекрасных вещей?

Иной раз Всеволод Эмильевич приходил на собрание усталым, поникшим, будто еще более похуленным. С видимым безразличием слушал он выступавших. Но вот что-то задело его, возмутило, и Мейерхольд, преодолевая усталость, бросается в словесный бой!

И невольно в такие минуты вспоминался Всеволод Эмильевич в годы гражданской войны — в одном журнале я читал тогда рассказ об этом периоде его жизни:

«...Вс. Мейерхольд ходил в какой-то истерзанной красноармейской шинели, вывезенной им из Новороссийска, курил махорку, в одном из карманов у него торчал браунинг, а в другом — огромная записная книжка, в которой все часы дня и вечера были расписаны по бесчисленным заседаниям в ТЕО (театральный отдел Наркомпроса), а часы ночи по репетициям «Зорь» в «Театре РСФСР Первом».

От этого нечеловеческого напряжения, — рассказывает автор воспоминаний, — у него снова открылись туберкулезные раны, и однажды ночью, уже на рассвете, он ввалился ко мне в комнату, бухнулся прямо на постель и прохрипел:

— Ну, умираю! Конец!
Я посмотрел на него. Его вид был действительно ужасен. Щеки ввалились. Длинный крупный нос стал еще длиннее и как-то еще более выделялся. Бледен был он почти смертельно. В полном изнеможении, закрыв глаза, он лежал без всякого движения...»

Но две-три фразы, затронувшие его, и Всеволод Эмильевич ожил:

«...уже бегал по комнате (вернее пытался бегать, так как комната — маленькая) и говорил...»

А через несколько минут «сел писать статью для очередного номера «Вестника театра».

Действительно, приходилось удивляться, как мог Мейерхольд, не отличавшийся, судя по внешнему виду, цветущим здоровьем, нести на себе поистине целые тонны дел.

Бывало, спрашиваешь его после заседания:

— Ну, наконец-то кончился ваш рабочий день — вы, конечно, сейчас домой?

Улыбнется — и все те же лукавые искорки пробегут по серым впалым глазам:

— Конечно. Куда ж еще? Три актера ждут меня в театре...

— ?!

— Да, да, в театре — он часто бывает моей ночной резиденцией...

Два раза мне удалось побывать на репетициях в театре Мейерхольда. Это было очень интересное зрелище. Темперамент прямо-таки бил из Всеволода Эмильевича огненным фонтаном!

Он бегал по залу, вскакивал одним прыжком на сцену, жестикулировал, импровизировал, показывая, как нужно выражать те или иные чувства. Он перевоплощался даже в... женщину! Актриса никак не могла изобразить «смех сквозь слезы», как значилось в авторской ремарке. Тогда Мейерхольд, отстранив актрису и сняв с нее платок, порывистым движением накиннул его на себя и... начал!

Мы раскрыли от изумления рты и тут же забыли, что «женщина» в платочке была в брюках и пиджаке. Эта «женщина» плакала и смеялась, и ее нервный смех был действительно смехом сквозь слезы! Присутствующие в зале не могли удержаться от аплодисментов...

На другой репетиции Всеволод Эмильевич рассердился на артистов:

— Как вы ходите по сцене! У вас у всех одна походка! Представляете ли вы старика или юношу, девушку или почтенную даму — одинаково волочите ноги!

И, вскочив на сцену, Мейерхольд мастерски показал и осторожную, медленную походку старика, и смелую, легкую — юноши, и как величаво ступает пожилая дама, и как весело, пружиня на ходу, идет на свидание молодая женщина...

И еще хочется вспомнить. Всеволод Эмильевич с первых же постановок, еще со времен гражданской войны, насыщал большой агитационной силой свои спектакли. И потом, уже в тридцатые годы, с законной гордостью рассказывал нам, как полки и батальоны Красной Армии, уходя на фронт, слали приветствия его театру. Многие красноармейцы увозили с собой на память о театре агитационные листовки, белокрылыми птицами опускавшиеся в зрительный зал в конце одного из мейерхольдовских спектаклей...